



Мехикалли

Ногалес в Аризоне

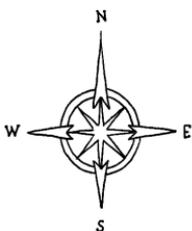
Ногалес в Соноре

Алтар

МЕКСИКА

ТИХИЙ ОКЕАН

Гвадалупа



СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

МЕКСИКАНСКИЙ
ЗАЛИВ



ПРОЛОГ

Когда живешь в таком месте, как это, всегда замыслишь побег. Даже если не знаешь, сможешь ли сбежать. Даже если таращишься в кухонное окно, выискивая причины, чтобы остаться.

Красный логотип «Кока-колы», украшающий выцветшую бирюзовую стену лавки дона Фелисио, напомнит о самой холодной шипучке, что тебе доводилось когда-либо пробовать. Прозрачная оранжевая пыль, та, что лежит на земле и вьется в воздухе, оживит в памяти лучшие моменты твоей жизни. Шелест ветвей пальмы вернет в тот день, когда ты залез на нее, чтобы сорвать, а потом расколоть спелый кокос и угостить мать сладчайшим молоком. А глубокая синева неба укрепит твою уверенность в том, что она может быть такой только здесь и нигде больше.

Ты будешь смотреть на все это и все равно замыслишь побег.

Ведь ты видел и то, как кровь становится коричневой, пропитывая бетон. Как она смешивается с грязью, экскрементами и внутренностями мертвых тел. По дороге в школу ты замечаешь потемневшие участки дороги, где умирали люди. А еще ты знаешь, откуда они исчезали и где они появлялись однажды утром многие месяцы спустя, порой живые, но чаще мертвые. Ты видишь их тела, которые когда-то были полны жизни.

А потом видишь, как на том месте, где они лежали, мочатся собаки.

Ты замышляешь побег, потому что не имеет значения, какие тут краски. Не важно, какие цвета вокруг, если тебе постоянно приходится наблюдать, как исчезает красота, как с приходом ночи, тьмы, сумрака всё вокруг становится мрачным и тусклым.

Ты замышляешь побег, потому что видел, как твой мир делается черным.

Ты замышляешь побег.

Но ты никогда по-настоящему не готов к нему.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

MI TIERRA
МОЯ ЗЕМЛЯ

ПУЛЬГА

Мама говорит, что у меня сердце художника. Она говорила это всегда, сколько я себя помню, и обычно без всякого повода. Стоит почувствовать на себе ее взгляд, посмотреть на нее — и она скажет: «У тебя сердце художника, Пульга».

Когда я был младше, не мог понять, что она имеет в виду. Но мне было все равно, потому что она всегда улыбалась такой улыбкой, которая казалась и счастливой, и гордой, и грустной одновременно. Вот почему я думал, что сердце художника — это, должно быть, что-то хорошее.

Когда она в первый раз так сказала, мне представился художник с маленькими усиками и в берете, как в мультике про Тома и Джерри, где они ваяют очередной шедевр. Правда, всего через пять секунд после этого им приходится удирать друг от друга, от бульдога или от метлы. Пять секунд — а потом беги, спасайся! Сложновато для малышей. Хотя преследования — тоже часть жизни, верно? Так что мультики меня чему-то научили.

Но я не хочу быть таким художником. Я собираюсь стать артистом, вроде моего отца. Он был музыкантом, играл потрясающую музыку и умел с размахом мечтать. Может, как раз это и значит иметь сердце художника? А может, это способность подмечать все краски мира

и искать их повсюду, несмотря на то что наш мир бывает очень мрачным.

А еще, я думаю, это значит, что вы чувствуете то, чего не хотели бы чувствовать. Например, при виде крови на бетоне вы не можете перестать гадать, чья она, и что-то внутри вас готово разрыдаться.

Но я точно знаю, что тут у нас хуже сердца художника ничего не придумаешь. Оно не помогает выживать, а наоборот: делает мягким и постепенно разрушает изнутри.

Я не хочу разрушиться. Не хочу развалиться на куски — такого и так кругом предостаточно.

Что мне нужно, так это стальное сердце, холодное, твердое, нечувствительное к резким уколам боли и ударам судьбы.

Чико щелчком посылает что-то мне в лицо, и я в ответ запускаю крошечным кусочком тортильи прямо ему в глаз. Он трет его и смеется.

Мы сидим за столом в кухне. На Чико опять его дурацкая бледно-голубая рубашка. Он все еще чешет глаз, когда из соседней комнаты доносится звонок маминого мобильного.

— Слушай, брат, у тебя что, других рубашек нет? Эта такая маленькая, что едва на тебя налезает. Как только ты ее натянешь, сразу кажется, что собираешься исполнить танец живота или еще какую-нибудь фигню. — Я хохочу, тыча пальцем в заметные мясистые складочки у него на талии.

— Заткнись! — выпаливает он. — Это моя любимая рубашка, понял? Видишь, что на ней изображено? Американский орел! Это я — американский орел, так что... Пошел ты к черту, — тихо добавляет он и смотрит, ожидая моей реакции.

— Не, парень, надо не так. Помнишь, я тебе говорил, что в слова нужно вкладывать силу? Задери подбородок и сделай такой выпад вперед, как пес, который сидит на цепи.

Я показываю, как надо, но Чико пожимает плечами и одергивает рубашку. Много раз я пытался научить его правильно ругаться и дразниться, тем более что у него для этого подходящие размеры. Но Чико делает это слишком робко. Он вообще слишком стеснительный, во всем. И демонстрирует миру свою слабость, не желая этого.

Вот и сейчас он смущенно натягивает рубашку на круглый живот, и мне становится ясно, что мое замечание всколыхнуло в нем все его комплексы. Будь я парнем, который хочет его сломать, просто продолжил бы доставать Чико. Но я люблю друга, поэтому не делаю этого, а напоминаю себе, что надо бы ненадолго от него отстать.

Он швыряет в мою сторону приличный кусочек тортिलлы, который попадает мне в волосы. Я трясую головой, чтобы избавиться от него, — и тут снова звонит мамин мобильник. Мы слышим, как она отвечает, а потом ее голос из спокойного становится возбужденным:

— Лусиа, *cálmate!* Успокойся! Я позвоню донье Агостине, но ты просто не нервничай... Ты должна сохранять спокойствие. Приеду через несколько минут. Все будет хорошо, обещаю.

Чико смотрит на меня, его левый глаз до сих пор красный и слезится, а пальцы сложены для щелчка, но на лицо уже напозла тень тревоги.

— Что случилось? — нервничает он.

Я подхожу к открытой арке, отделяющей нашу крохотную кухню от гостиной, которая ненамного больше.

Она заставлена громадными красными бархатными диванами. Мама купила их за хорошую цену еще до моего рождения. Она гордится, что битый час торговалась за них с продавцом, восклицая: «Да кто захочет сидеть на бархате, когда жара сорок градусов и влажно?!» Но, оказывается, сама мама очень этого хотела. Она считала, что диваны выглядят просто по-королевски, и отвоевала их, хоть теперь нам и приходится вставать каждые пять минут, чтобы немного охладиться.

Мама расхаживает возле нашего древнего, как мир, телевизора, прижимая мобильник к уху.

— Что происходит? Все нормально? — спрашиваю я, готовясь услышать, что кто-то умер. Или убит. Или похищен.

— *El bebé*, Пульга! Ребенок вот-вот родится!

На ее лице, на мгновение вытеснив беспокойство, появляется широченная улыбка, а глаза делаются огромными от радости. Прежде чем я успеваю хоть что-то еще спросить, она уже начинает новый телефонный разговор, объясняя донье Агостине, что у моей двоюродной сестры Крошки началась роды, а *тиа*³ Лусиа не может отвезти ее в больницу, и пожалуйста, пусть донья поторопится!

Крошке семнадцать — на два года больше, чем мне. Она моя двоюродная сестра, хоть и не по крови. Точно так же Лусиа мне тетя, но не кровная. А Чико — мой брат, и тоже не по крови. Кровь, если только она не проливается, ничего для нас не значит. Мы семья и всегда горой стоим друг за друга, что бы ни случилось. Поэтому через миг, перекрывая рев своего мотороллера, мама кричит, чтобы мы заперли дом,

³ Тетя (исп.). — Примеч. пер.

выезжает с нашего переднего патио и мчится к *тия* Лусии и Крошке.

— Погнали! — вопит Чико, выбегая из кухни и протискиваясь мимо меня.

Он давно умирал от желания увидеть ребенка Крошки, постоянно тарасился на ее живот и, когда мы собирались все вместе, спрашивал, как она себя чувствует.

Сперва я думал, что Чико просто в своем репертуаре: беспокоится обо всех на свете и считает младенцев, щенков и котят ужасно милыми. Но однажды вечером, вскоре после того, как выяснилось, что Крошка беременна, мы сидели в нашей комнате, и он сказал мне, что верит, будто после смерти мы возвращаемся на землю. Будто мы рождаемся снова и находим способ быть с теми, кто нам дорог. Тогда я понял: Чико надеется, что к нему таким образом вернется его мама. Он, наверное, думает, что, увидев наконец ребенка Крошки, сможет узнать в нем черты своей матери. Мы-то с мамой не особо верим в такие вещи, но кто знает: может, Чико и прав.

Я хватаю ключи и запираю дверь. А потом мчусь в сторону дома *тия* Лусии по улицам нашего *баррио*⁴, где еще не улеглась пыль, которую поднял мамин мотороллер, и легко нагоняю Чико, потому что я мелкий и шустрый — и это хорошо для здешней жизни. Мы уже на полпути, и тут Чико вспоминает, что олимпиец из него никакой. Он замедляется до бега трусцой, а потом переходит на шаг.

— Черт, — говорит он, сгибаясь пополам и хватаясь за живот, — я совсем запыхался. Давай просто пойдем. Рожать же все равно долго, да?

⁴ Район, квартал (*исп.*). — *Примеч. ред.*

Я решаю, что он говорит дело, и мы сбавляем ход. Чико хватает ртом густой влажный воздух, и его лицо краснеет, становясь похожим на потемневший апельсин.

— Парень, а почему Крошка так затынула? — спрашивает он. — В смысле, чего ей было не поехать рожать в больницу? Разве это не надежнее? А она вот так рожает дома, будто сейчас Средневековье какое-нибудь. Ты думаешь, с ней все будет нормально? — Он смахивает со лба бисеринки пота, щурясь от палящего солнца — яркого и белого.

— Ну конечно, с ней все будет нормально. Женщины рожают каждый день, так ведь? И ты же знаешь нашу Крошку. Малюсенькому ребенку с ней не потягаться. — Я смеюсь, надеясь убедить Чико, но он лишь пожимает плечами.

Я вижу, как его начинает пожирать тревога. Он всегда нервничает, особенно если дело касается Крошки, меня или наших матерей. Например, Чико тревожится, когда мама задерживается с работы хоть на несколько минут, потому что она может не успеть добраться за светло. Тут у нас никто не хочет ходить впотьмах.

А еще, было дело, *тия* Лусии названивали какие-то типы, требовали денег, так у Чико все внутренности сжимались, скрипели и стонали от беспокойства, как будто что-то грызло его изнутри. Закончилось это, лишь когда прекратились угрозы, хоть мама с *тия* Лусией и утверждали, что, как люди говорят, такое частенько случается. Просто всякая шпана притворяется опасными парнями — вдруг удастся срубить легких денег. Если не заглотишь их наживку, они просто отвалят, и всё. Надо признать, я и сам был немного напуган этим. И *тия* Лусия тоже переживала, это точно. Вот и еще

одна особенность здешней жизни — никогда нельзя точно сказать, где реальная угроза, а где жульничество.

— Дикость какая-то, скажи? — подает голос Чико. — У Крошки будет ребенок!

Я подобрал на дороге камень и зашвырнул его подалее. Упав на землю, он взметнул облако пыли. Да, это дикость. И конечно, Крошка должна бы рожать в больнице. Нельзя было ждать так долго и дотягивать до того момента, когда она уже не сможет ходить и *тиа* Лусии придется в панике взывать к помощи Марии, Иосифа и моей мамы.

Впереди я вижу донью Агостину, которая спешит к дому Крошки, и мне становится чуть легче: эта старушка работала акушеркой, когда была помоложе. Может, все еще обойдется и Крошка будет в порядке, пусть даже у нее уже несколько месяцев совсем потерянный вид.

Дело в том, что Крошка, похоже, так долго тянула, потому что вообще не хотела этого ребенка. Она отказывалась признавать его существование. Не говорила о нем. Ничего для него не делала. Думаю, какая-то ее часть считала, что, если игнорировать беременность, та как-нибудь рассосется. Из-за этого я жалел Крошку сильнее, чем когда-либо, сильнее, чем когда ушел ее отец. И даже сильнее, чем когда он так и не вернулся.

Не думаю, что Крошка вообще собиралась сообщать *тиа* Лусии, маме, Чико или мне о своей беременности. Интересно, если бы мы не узнали о ней случайно, что делала бы Крошка, когда пришло время рожать? Может, закрылась бы с вечера у себя в комнате, а наутро вышла, держа младенца на сгибе одной руки, по-прежнему отказываясь признавать, что он есть, и пропуская мимо ушей все обращенные к ней вопросы?

Мы узнали о ее беременности лишь потому, что несколько месяцев назад она выпала из белого автобуса, который ездит к открытому рынку в центре нашего города, и, окровавленная, попала в клинику с переломами и синяками. Мы с мамой добрались туда как раз вовремя, чтобы услышать, как Крошка пытается объяснить доктору, что же произошло.

Она бормотала про жару и тесноту в автобусе: мол, у нее закружилась голова, кто-то толкнул ее — ну она и выпустила поручень. Вот и всё, настаивала Крошка. Именно так она и вывалилась на все эти камни из открытого автобуса, как раз когда он начал спускаться с самого высокого холма нашего *баррио*.

Врач объяснил нам и *тиа*, что такие вещи порой случаются, что беременные сплошь и рядом страдают головокружениями, особенно в толпе, но тревожиться не о чем: с ребеночком все в порядке. Он сказал все это будничным тоном, взясь со сломанной рукой Крошки и обрабатывая ее ссадины.

Тиа и мама ахнули, а Крошка уставилась в потолок. — *Un bebé?* Ребенок?.. — прошептала *тиа*.

А потом в кабинете стало тихо, лишь из соседней комнаты доносилось старческое кряхтенье, да в коридоре, где ждали своей очереди пациенты, стонала какая-то женщина.

— Пять месяцев? — продолжала вопрошать *тиа*, когда они с мамой уселись пить кофе у нас в кухне. — *Pero, cómo?* Но как?! Прямо под нашей крышей. И кто отец?

Мама поглаживала *тиа* по руке и старалась приободрить ее. Напомнила, что они не какие-нибудь замшелые старухи и какая разница, кто там отец.

— Должно быть, это была какая-то несчастная *amor*, Лусиа. Любовь, обстоятельства которой сложились так неудачно, что девочка хочет просто забыть этого парня. Не спрашивай ее о нем, пусть она сама тебе все расскажет, когда будет готова. Ах, бедняжка! — сказала мама. — Бедная Крошка! Давай-ка будем лучше думать о ребеночке. Вырастим его все вместе.

Мама добавила, что из нас с Чико получатся отличные *тио*⁵. А она и *тиа* Лусиа будут этому малышу бабушками. И ребеночек не станет ни в чем нуждаться. Она повторяла это снова и снова, пока то, что сперва показалось *тиа* Лусии катастрофой, не стало наконец поводом для радости.

За все это время Крошка не проронила ни слова.

Вскоре мама и *тиа* Лусиа, лучшие подружки с самого детства, уже со счастливыми улыбками покупали вещи для младенца. Они починили старую плетеную кровать. И все время повторяли, что этот малыш — просто дар небес.

Но их радость не была заразительной. Она не перекинулась на Крошку, которая отказывалась присоединяться к спорам *тиа* Лусии и мамы и не добавила ни единого имени к длинному списку, который они составили.

Шли месяцы, и, если бы не громадный живот Крошки, из-за которого ее прозвище перестало ей подходить, никто бы не поверил, что она ждет ребенка. Она не страдала от неизбежных в ее положении, как уверяли мама и *тиа* Лусия, жажды, изжоги и тошноты.

⁵ Дядюшка (*исп.*). — *Примеч. пер.*